

Ольга Форш

Михайловский замок



*Часть сборника
Михайловский замок (сборник)*



Ольга Форш

Михайловский замок

«АСТ»

1946

Форш О. Д.

Михайловский замок / О. Д. Форш — «АСТ», 1946

ISBN 978-5-17-065224-2

«Михайловский замок» посвящен последним годам правления императора Павла I.

ISBN 978-5-17-065224-2

© Форш О. Д., 1946
© АСТ, 1946

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	13
Глава третья	19
Глава четвертая	22
Глава пятая	26
Глава шестая	30
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Ольга Форш

Михайловский замок

© Форш О. Д., наследники

© ООО «Издательство Астрель»

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Глава первая

В 1798 году Наполеон мимоходом, направляясь в Египет, захватил остров Мальту. Несмотря на боевые запасы артиллерии, магистр Ордена сдался без всякого сопротивления и скрылся в Триест. Достоинство великого магистра предложено было русскому императору Павлу Первому. Мечтая о воскрешении древнего рыцарства, Павел не только принял предложение кавалеров Ордена, но дал приказ: «Повелеваем опубликовать о сем во всей империи нашей и новый титул внести в прочие титулы наши». Тотчас дана была аудиенция в Зимнем дворце депутации капитула Ордена, которая торжественно поднесла императору корону и регалии великого магистра. На Новый год Павел явился перед изумленными придворными в короне, супервесте и великолепной мантии и объявил, что впервые будут сожжены в Павловске в канун Иванова дня знаменитые костры Мальтийского ордена.

Преувеличенный восторг, с которым русский император отнесся к протекторату над Мальтийским орденом, вызвал в Европе насмешку, и с лукавой иронией записал аббат Жоржель: «Русский император, не принадлежащий к католической церкви, но исповедующий схизму Фотия, сделался гроссмейстером Ордена религиозного и военного, имеющего первым своим начальником папу. Император Павел поразил Европу».

Однако, кроме этой, забавной аббату, стороны дела, возникновение постоянных сношений с Мальтой было серьезным по своим последствиям расчетом Павла и продолжением умной политики Екатерины. Упрочив свое влияние на Мальте, Россия могла на Ближнем Востоке успешней бороться с Англией.

Накануне Иванова дня Павел ушел из дворца один в дальнюю прогулку. В конце липовой аллеи, на парадном плацу, уже сложены были в клетку и белели серебряной корой молодой березы девять костров. Гирлянды из редких оранжерейных цветов и прочие украшения плаца поручены были молодому ученику придворного живописца Бренны – Карлу Росси. Мать его была знаменитая прима-балерина, мадам Гертруда Росси, отчим – не менее знаменитый постановщик балетов Лепик, а настоящий отец его был неизвестен.

Император задумался, приближаясь в своей одинокой прогулке к любимой им Старой Сильвии. Было здесь безлюдно и не парадно. Под июньским солнцем особой свежестью пахли травы, еще не кошенные, блестящие после недавнего дождя. На этих вот лужайках, бывало, отроком, в сопровождении любимого воспитателя Порошина, собирал он цветы и травы для гербария. Порошин, душой преданный, – был бы жив – охранял и сейчас...

Впрочем, к чему теперь охрана, если завтра ночью вспыхнут девять мальтийских костров? Иезуит патер Грубер, которому разрешено в любой час дня и ночи входить в императорскую спальню, сказал сегодня особо торжественно:

– Едва запыхают девять костров во имя святого Иоанна, как охранительная стена, незримая глазу, будет воздвигнута вокруг вас, помазанника и духовного главы рыцарства всего мира.

Как всегда, в минуты, когда он верил всей душой в могущество охраняющих его сил, Павел вдруг освобождался от подозрений, страхи отступали от него, и он был счастлив тем простым счастьем, как в памятный день, когда царица-матушка подарила ему это сельцо – Павловское.

И, молодо оглянувшись вокруг голубыми глазами, прекрасными, когда не затемняло их безумие, отбросив докучные мысли, Павел с любопытствующим восхищением новичка, попавшего впервые в эти прелестные места, стал осматривать извилистые берега – веселой речки Славянки.

Двадцать лет тому назад Екатерина подарила ему эти земли, но полюбил их он много раньше. Сюда, в этот густой сосновый бор, когда здесь еще было всего два охотничьих домика, смешные Крик и Крак, спасался он, бывало, из Петербурга, оскорбляемый фаворитами.

Все дальше шел Павел, любуясь цветущим своим парком. Вспоминал, как начинал разбивку его вдоль речки Славянки к старому шале и от него к мосту Крика. По модному английскому образцу вели посадку кустов, искусно пользуясь красивыми склонами речки. Давно забытая детская радость охватила, когда узнал места самых первых наивных построек: вот хижина монаха, трельяж, там беседка на китайский манер, и другая подальше – подражание Пиранези – построена в виде полуразрушенной башни-руины.

А какие были узорные цветники на многочисленных островках, какие шаловливые между островками каскады! Камерон давал указания на устройство просек. И хотя все, что напоминало царство и вкусы матушки, было непереносимо и наполовину уже уничтожено, Павел сейчас воздавал должное Камерону, вызывая в памяти им одним созданную особую легкость, изящество и прелесть планировки.

Когда под именем князей Северных он с женой путешествовал по Европе, построен был большой дворец, начата колоннада Аполлона, храм Дианы, большой каскад, вольер и дворцовая баня. Всё заботы ее, матушки-царицы.

Пока сын отсутствовал, Европы ради строила напоказ, чтобы крепко держалась молва об ее материнской заботе. О каждом пустяке писала своим друзьям за границу, забрасывала их подарками, они же ее – хвалой. Всё для видимости... А скуповата была для истинных нужд семейных! Выписан был знаменитый Гонзаго для росписи дворца, а приехал – платежей нет. В необходимом, в белье и платье нуждались. Зато сейчас его время, его право.

Едва мать умерла шестого ноября, как уже двенадцатого император переименовал село Павловское в город. И судорожно, с раздражением, стал по-своему переделывать парк: Славянку приказал запрудить, часть островов уничтожить...

Павел дошел до мыльни и Пиль-башни и присел на скамью.

Да, не тот теперь Павловск – подтянулся. А при матушке-то сколько фальшивого сентимента вызвал приказ его о прекращении нищенства? Правда, случился некий пересол – на цепь посадили одного инвалида... Так ведь не помер же он с того!

И с удовольствием Павел подумал о своих последних приказах директору парка: воспретить строжайше в парке свист, зряшные разговоры, непотребный хохот... не матушкин, чай, дом распутства. В городе Павловске пребывает он, самодержец, гроссмейстер Мальтийского ордена.

Впрочем, приличному веселью и он не препона: кавалькады, прогулки, завтраки в молочном домике, вечерний чай в шале. Но императору и отцу необходимо всегда знать, куда именно, надолго ли и зачем ушли от него его близкие. Придумал лотерею, чтобы прикрыть свою тайную подозрительную настороженность: вынимали как бы шутя билетики, куда именно идти сегодня, он же записывал.

Прогулки, им одобренные, были: в зверинец, в охотничью будку, по пограничной просеке и назад, по аглицкой дороге и через Звезду – семь верст. Самая длинная прогулка.

Любил, чтобы приходили назад точно, по часам. Все концы были выверены. Дышал спокойно, когда знал, что никуда зайти не могут, что некогда им пошущукаться – только и дела, что прошагать туда и обратно.

Вдруг Павел налился кровью, побагровел, сильней забилося сердце. Вспомнил, как недавно наткнулся на Александра, который записан был как ушедший на просеку. Александр с книжкой в руках сидел в беседке и в вытянутой руке держал большие карманные часы. На просеку он с прочими, видимо, не пошел, а сидел тут один и следил по часам, когда ему явиться к отцу.

Оттого что тогда сдержался и сына не обличил – тем тяжелее запомнил ему эту обиду.

Мысль о сыне повела в те места, которые с такой любовью украшала царица-матушка для любимца своего и – тайно мнила – наследника.

Павел двинулся к Александровской даче и с горечью думал:

«Неужто матушка, столь разумная и в многих государственных случаях справедливая, не понимала, что, минуя отца для преимущества сына, она сеет в сердце моем страшные семена?»

Вот она – Александрова дача – воплощение сказки императрицыной о «розе без шипов и царевиче Хлоре», написанной для любимого внука.

Встали в памяти слова пиита:

И отрок с самого начала,
Когда рассудку мысль его внимала,
Научится быть осторожным здесь...

Дом на крутом берегу, а в долине театр с золотым верхом. Недлиная аллея, обсаженная цветами, ведущая к дому, неожиданно обрывается, и восхищенному взору предстают раздолья полей и синева дальних лесов.

Павел не мог удержаться от зависти к сыну, когда попадал в царство его счастливого детства. Сколько внимания и нежности шло к внуку от той, которая обидно пренебрегала им, родным сыном. Таков ли был бы он сейчас, выпади ему в детстве жребий Александров?

«И отрок с самого начала... научится быть осторожным здесь». Да, осторожности Александр научился!

И вдруг неудержимо и больно пронзила сознание одна мысль – так огненная змейка, вновь возникающая на пожарище, которое, сдавалось, потушено, вырастает вмиг в злое пламя: Екатерина вовлекла Александра и Константина в постройку дворца. Ребята, забавляясь, клали фундамент. А что, если заложили туда и такое, что может взорваться? И оно взорвется?

Долго в оцепенении стоял, прислонясь к статуе Амура. В смертной тоске глядел, как Амур, на веки вечные обреченный натягивать лук свой, медленно розовел, словно оживал под лучами летнего солнца. Стоял неживой, пока совсем простая, здоровая мысль не пришла сама на выручку: да ведь дворец-то уже много лет тому назад строили, ребятишками сыновья были... Вздор это! Вздор и безумие! Сам дьявол взбудоражит вдруг подозрениями, спутает сроки, навевает бессмыслицу...

Павел пугливо оглянулся: не видал ли кто, не угадал ли его постыдные мысли? Вдруг посветлел и весело крикнул:

– Полкашка, сюда!

Стремглав летел к нему через кусты и тропинки большой лохматый пес. В собачьем восторге, что донюхался, где его хозяин, Полкан неистово прыгал, норовя лизнуть прямо в губы.

Ребачливо смеясь, Павел сам обнимал собаку, усаживал рядом с собой на скамейку. Полкан с сознанием исполненного долга высунул красный язык и спустил пышный хвост со скамьи.

Павел рассмеялся, вдруг что-то вспомнив, и сказал Полкану, доставая из кармана вчетверо сложенную бумажку:

– А ты, братец Полкан, – знаменитость. Адмиралы про тебя пишут. Вот послушай-ка...

И он стал читать собаке вслух то, что давеча дострочно списали из записок гостившего в Павловске адмирала Шишкова:

«Забавы наши в Павловске однообразны и скучны».

– Ну и поскучай, коли хочешь быть при дворе. Так, Полкашка?

«После обеда степенно, мерными шагами прогуливаемся по саду. После шести шествуем на беседу весьма утомительную. Государь с великими князьями садится рядом, мы подпираем стены, как безмолвные истуканы. Государь ведет с детьми сухие разговоры, мы же не смеем ни говорить между собой, ни вставать со стульев. На длинном шлейфе императрицы лежит всегда простая дворная собака».

– Это же ты, Полкашка! – мазнул Павел собаку листом по морде. – И простая и дворная, а мне сего адмирала милей.

«Неизвестно, откуда явилась сия собака. Но она не отстаёт от императора...»

– И не отставай, Полкан, охраняй меня!

«И скоро со всеми прочими сия собака стала предерзкая, государь может один её гладить, и его она не кусает. Однажды она залаяла во время вахт-парада. Государь рассердился и крикнул: «Уберите её от меня!» Но она не далась никому на руки и просила прощенья, повалившись на спину, четыре лапы вверх, и махала хвостом, – он простил её».

– А ведь и точно, было дело, – смеялся Павел. – Ну и дурак же этот Шишков, такое записывать! Как с ровней, с тобой, Полкашка, считается. Если бы римский безумец Калигула не произвел своего коня в сенаторы, я бы тебя, Полкан, пожаловал в адмиралы.

«Сия собака любит театр. Во время действия сидит в партере на задних ногах и смотрит на актеров, будто понимает их речи и действия».

– Донос на тебя, – веселился Павел. – Ай да адмирал Шишков! Завтра, на зависть ему, посажу тебя с собой рядом в ложу.

Павел спрятал бумажку в карман, решив ещё посмеяться вечером вместе с Аннушкой Гагариной, и, веселый, пошел в сопровождении Полкана через мост, украшенный трофеями, к храму Цереры, рядом с которым высокой струей бил ключ, посвященный Марии Федоровне.

Император и пес напились студеной воды и, поднявшись на высокий холм, вошли в храм «Розы без шипов».

У храма был крутой купол на семи колоннах. Посреди алтарь, на нем ваза. В вазе прекрасная роза с гладким блестящим стеблем без единого шипа. На плафоне торжественная фреска: Петр с высоты небес смотрит на блаженствующую Россию – дородную женщину в сарафане. Она же, окруженная наукой и промышленностью, опирается на щит с изображением Фелицы. Внизу орел когтями разламывает рога луны.

Павел вспомнил, что граф Литта вручил ему статут Ордена, требующий неукоснительного выполнения всех правил, от чего крепла сила охраняющего действия ритуальных костров, которые зажгут завтра на парадном плацу. Он вынул записную книжку, посмотрел в который раз параграфы и сделанные к ним собственные отметки. Между прочим была и такая:

«Справиться у Винченца Бренны, кто истинный отец ученика Карла Росси? Если не двоюродник, обладавший грамотой, восходящей к десяти предкам, личное присутствие одного Росси на сожжении костров допустить нельзя».

Кроме Росси, записаны были и другие.

Вдруг Полкан с веселым лаем кинулся со всех ног к небольшой открытой беседке, и Павел увидал там рисующим в альбоме того самого юношу, о котором только что думал.

Карл Росси так был охвачен своей работой, что, погладив мимоходом Полкана, даже не оглянулся на императора, хотя не мог не знать, что лохматый пес неотлучен при царе.

Павел большими шагами направился к беседке, он готов был разгневаться. Мария Федоровна, супруга, не нахвалится изяществом рисунков этого Росси, только по ним и режет свою слоновую кость, а наемники донесли, что в городе болтают – Михайловский-де замок воздвигается дарованием сего юного Карла, его учитель Бренна только проекты подписывает...

Тем более столь доблестному юнцу не след манкировать своему императору. Всем существом обязан он чувствовать его приближение.

Подойдя вплотную, Павел хлопнул Росси по спине. Тот, испуганный, вскочил:

– Ваше величество?..

– Хвалю, сударь, хвалю, – мгновенно смягчившись, скороговоркой проговорил Павел, – у вас чистый взгляд, чистый!

Росси недоумевающе смотрел на императора широко расставленными глазами, еще весь поглощенный своей работой.

– Дышать забываете, сударь, когда рисуете, – смеялся Павел, – не то что салютовать вовремя своему императору. А ну, покажите.

– Эскизы украшений для завтрашнего празднества, – протянул Росси альбом.

Он был очень молод, прекрасной внешности. Соразмерность частей его стройного тела давала впечатление особого изящества. Волосы вились, усиливая приветливость лица, глаза, светлые, с ярко отмеченным зрачком, доверчиво, не страшась, смотрели в глаза императора.

– Ваши рисунки отменного качества, сударь. А известно ли вам символическое содержание завтрашнего таинства костров?

Павлу отраднo было думать, что никакой задней, скрываемой мысли у этого юноши нет, он полон одним беззаветным увлечением своим искусством. И горько мелькнуло: «Вот такого б мне сына... такому б я верил».

Полубояв Росси, облизанного мохнатым Полканом, Павел пошел с ним обратно к Большому дворцу. Дорогой он давал Карлу последние указания, как надлежит распределить гирлянды и венки, какую постепенность требует сожжение костров и фейерверка. Подойдя к плацу, где сейчас производилось учение, Павел нахмурился, заложил руки за спину, что всегда у него было началом гнева. Вдруг он оттолкнул Полкана и один проскочил далеко вперед, бросив Росси. Ему показалось, что сын Александр, командовавший марширующими гатчинцами, потушил мгновенную усмешку, увидя отца с молодым архитектором. К тому же и гарнизон шагал не по артикулу. Хотя это были любимые гатчинцы, под командою Александра они с неряшеством, неточно печатали шаг.

Вмиг рассердившись на сына, на гатчинцев и невероятным усилием воли сдержав этот гнев, Павел круто повернулся к оторопевшему Росси и неприятным, повизгивающим голосом прокричал ему:

– О вашем происхождении, сударь, не имею чести знать в точности! Матушка ваша – прима-балерина, вотчим – Лепик, ну-с, а, собственно, родной ваш батюшка кто будет?

Павел попал в больное место. Росси покраснел до слез, однако, не теряя достоинства, отчетливо вымолвил:

– Я не знаю сам, ваше величество, кто мой родной отец.

Опять юноша стал приятен.

– Бы-ва-ет... – с мягкой насмешкой протянул Павел, вспомнив, как сам немало страдал от пересудов досужих придворных, что он не сын Петра Третьего, а всего-навсего Сергея Салтыкова.

– Учителю вашему, Бренне, передайте, что прожекты я ваши одобрил. А точные сведения об отце – добыть от матери и представить мне наутро.

Павел, стуча каблуками, держа за ошейник Полкана, зашагал быстро к дворцу, а Карл Росси, потрясенный происшедшим, избегая ненужных встреч, пошел темными аллеями на почтовый двор.

Тройка отличных коней быстро домчала Карла до города. Он взял ялик и, перед тем как увидаться с матерью в театре, поехал кататься по Неве. Как спасательный круг утопающему, чтобы выбраться из захлестнувшей пучины, необходимо Карлу в хватившей его лютой тоске убедиться, что все так же незыблем вознесенный над Невой монумент Фальконета, все так же великолепны творения Растрелли, усыпанные украшениями, залитые золотом, дремотно мерцающие под нежным, нежарким северным солнцем.

Карл мысленно вызвал в памяти своей и то, чего сейчас не было перед глазами: вот усилием воли, под мерный плеск весел, перенесся он в здание изящного Камерона, и тотчас знакомой утешающей лаской коснулось его разбитых чувств это ожившее в новой форме чудесное искусство древней Помпеи. От Камероновой галереи перешел он мыслями к строгим, величественным колоннадам Кваренги, этой души воскрешенного Рима, и ему стало легче, отпустили горечь и боль.

Эти воображаемые, мгновенные, по желанию вызванные путешествия по творениям великих мастеров зодчества были ему привычны с детства, как его сверстникам слова молитв. В минуту душевного упадка они просто спасали. Выхватывали по волшебству из тяжелой действительности и, как на ковре-самолете, миг переносили в область навеки незыблемого и прекрасного.

Яличник налег на весла, и Карл погрузился в бездумный отдых, глядя на студеную и летом, сине-стальную воду Невы, на чаек, белых и легких, как большие хлопья снега.

Чайки, занесенные на многоводную красавицу реку с моря, казалось, приносили с собой и его освежающий морской запах.

С освобождающей душу отрадой смотрел Карл на гранит, одевший Неву, на Мраморный дворец Ринальди, на изумлявшую каждый раз заново своей воздушной красотой Фельтенову сквозную решетку Летнего сада...

Далеко отступило, выпало из памяти лживое придворное общество Павловска, и потухли обиды, нанесенные безумным царем и легкомыслием родной матери.

В углах средней башни Адмиралтейства, рядом с флагами, вдруг зажглись фонари, – так повелела Екатерина после наводнения, – и Карл, боясь опоздать в театр к матери, приказал яличнику причалить к берегу.

Ему повезло. Сегодня дежурили служители, знавшие его с детства, они беспрепятственно пропустили в уборную матери. Она была одна.

– Мадама гримируется, – сказала горничная, – но вы пожалуйста...

– О сынок мой маленький, хотя уже большой, – с нежной лаской пропела Гертруда, не отрываясь от зеркала, перед которым она кончала накладывать грим. – Ты сейчас увидишь мать крылатой Психеей, Я буду сегодня чудесно танцевать. О, я уничтожу Настасью Берилеву, уничтожу!

Гертруда постучала заячьей лапкой по столу.

– Настасье сбавят столовые и квартирные и на башмаки и на чулки. Не ей равняться со мной!

Карл съежился, онемел. Как далека была от него эта мать, полная закулисных интриг. И даже свои ласковые слова говорила она ему без всякой мысли, как говорят любимой комнатной собачке.

Карл встал, подошел к Гертруде, сказал жестоко, не глядя:

– Я требую от вас правды, пора мне узнать... кто, собственно, мой отец?

– О, зачем так сердито! – простонала Гертруда. – Ты ранишь мое сердце этим голосом.

Она не сказала – словами...

– Император мне задал вопрос, и я должен узнать про отца. Понимаете: кто тот человек, от которого я рожден?

Гертруда жеманно хихикнула и, как в балете, погрозила игриво пальчиком:

– Неприлично говорить о таком со своей матерью!

– Мать должна открыть тайну моего появления на свет.

Росси подошел к выходной двери и загородил ее собою, чтобы Гертруда, не упорхнула без ответа на сцену.

Мадам Гертруда, все еще прекрасная, неистребимо молодая, подбежала к сыну, высокому ростом. Поднявшись на носки, туго обтянутые розовыми туфельками, она пригнула голову Карла обнаженными душистыми руками к своей груди и с очаровательной грацией прошептала;

– Сын мой, дитя... ведь я не ведаю и сама, кто твой отец! Но я люблю тебя за двоих. И сейчас я буду танцевать для тебя... только для тебя.

В дверь постучали. «Иду!» – весело крикнула Гертруда и, еще прильнув к сыну, сказала с мольбой:

– Не надо нам ссориться, дорогой, не надо!

Прима-балерина была права. Едва сын увидел ее на сцене театра легкокрылой, поистине воздушной Психеей, он все ей простил. Точность рисунка ее танца, волшебный полет, совершенство движений восхитили его, освободили, унесли. Прославленный танец Гертруды Росси был совершенной силой искусства, снимавшей бремя вседневных тягостей. Недаром писали про нее, что она вызывает благодарные слезы восторга.

А когда, минуя жадные взоры гвардейцев-балетоманов, ловивших ее улыбку, ему одному, возлюбленному сыну, она послала воздушным шарфом приветствие и скрылась за кулисами, – Карл выбежал из театра.

Он боялся, что мать позовет его ужинать. Он уже не хотел утратить свое разнеженное дивным танцем благодарное к ней чувство. На сцене мать совершенный художник, в жизни – неумная, тщеславная женщина. Какие с ней счеты!..

Была лунная ночь. В зеленоватом прозрачном свете стоял город. Росси, не отдавая себе отчета, не глядя по сторонам, почти без сознания мчался по непривычным ночным улицам к великому утешителю своему, бессмертному всаднику Фальконета. Перед ним замер.

Глядя на Петра, юноша испытывал великое удовлетворение.

Его охватило настроение совершенного бескорыстия. Ничего он для себя не хотел и вместе с тем сейчас впервые узнал – он свершит в своей жизни великое, для всех нужное.

Он глядел неотрывно на освещенного лунным светом скакуна, который откуда-то, из недр, вихрем взлетел на самую вершину скалы.

Невиданный этот конь пес на себе всадника, увенчанного лаврами. Всадник простер над городом отеческую десницу. Он звал вперед.

И Карл ощутил всем своим существом, что несокрушимая, всепреодолевающая воля к созданию еще никем не угаданных зданий до конца дней стала ему второй природой.

Глава вторая

Согласно ритуалу мальтийских рыцарей Карл Росси не был включен в число гостей, имеющих право присутствовать при сожжении девяти костров. Необходимых по статуту предков у него не оказалось.

– Как художнику, вам даже будет любопытнее охватить все зрелище сразу, с вершины ближайшего холма...

Так, с любезной улыбкой, желая смягчить удар его самолюбия, сказал Росси церемониймейстер Ордена.

Но Карлу было только дело до того, что скажет ему его Психея, Катрин Тугарина.

Воспитанная отцом-вольтерьянцем, веселая насмешница – кто лучше ее способен подметить неумное чванство придворных, их фальшь, ханжество? Как мило, наверное, она посмеется над тем, что у него не хватило предков, тогда как у нее их излишек.

Но сейчас искать встречи с Катрин невозможно, работы еще по горло. Придется отложить свидание до позднего вечера, уже после сожжения знаменитых костров. Любопытно, прочтет ли Катрин без ошибки его любовный мадригал на гирляндах? Подбором разнообразных оттенков живых цветов Карл собирался окончательно выразить Катрин свои чувства. Ему уже удалось послать ей предупреждающую записку:

«Возобновите в памяти «язык цветов», чтобы прочесть на гирляндах костров предназначенные вам слова».

Хотя император Павел строго преследовал все забавы, которые были в обычае при дворе его матери, у каждой девицы хранился в тайничке вместе с толкователем снов и «язык цветов».

Карл отправился в оранжерею, где он должен был дать последние указания помощникам. Дорогой он еще раз осмотрел воздушные зеленые беседки, затейливые павильоны, боскеты, сооруженные по его рисункам, и остался доволен. Хотя ему давно хотелось на чем-то громадном развернуть свой дар, которому, чувствовал он, уже пора найти достойное применение, – эти легкие, веселые работы из живого материала самой природы восхищали его. Он был как первый создатель мира, располагая по собственному вкусу купы деревьев и кустов, нагромождая скалы и камни в излучинах речки, вознося лиственные арки, низвергая каскады...

В оранжерее подручный Митя рассказал Карлу, что и наследник Александр по поводу запрета художникам, как не имеющим достаточного количества предков, присутствовать на празднестве вместе со двором, прищурясь, вымолвил: «И дело. Всяк сверчок знай свой шесток. Иные из молодых уж слишком подбираются к государю...»

– Это он на вас намекал, Карл Иванович, – бережно сказал Митя, – все отметили, наследник вроде вам завидует, потому что государь особенно к вам ласков.

– Для ученика Лагарпова такие чувства едва ли подходящи, – улыбнулся Росси, – но меня Александр и вправду не слишком жалует.

Карл вспомнил, как он недавно принес в кабинет Марии Федоровны заказанные ею рисунки для чернильницы, а она, восхищаясь, протянула их наследнику и сказала;

– Хорошо, если бы вы так умели для меня рисовать.

– Но я ведь в художники не готовлюсь, – вспыхнул Александр.

– Очень помню, мой сын, – вы готовитесь царствовать, – уязвленная его тоном, подчеркнула мать.

И намеренно как нехорошо на него глянул Александр, когда с обнявшим его императором он подошел к марширующим гатчинцам.

– Самолюбив очень, – неодобрительно сказал Митя, – и фрунтом задерган, и отцом запуган, и глухоту свою скрывает. А у вас так все выходит легко и свободно.

– Наследнику, конечно, живется невесело, но довольно о нем. Нам с тобой, Митя, сейчас дело кончать. И домой мне еще заглянуть, переодеться...

Карл быстро и точно сделал последние распоряжения; не в силах сдержать счастливую улыбку, перечислил Мите, какие оттенки цветов еще необходимо доставить из самой дальней оранжереи. Наконец он двинулся к проспекту Лепика – так, по приказу Павла, именем его отчима окрещена была близлежащая прямая улица, в конце которой возвышалась затейливая дача знаменитого танцовщика.

Митя догнал Карла и, шагая с ним в ногу, застенчиво сказал:

– Просить вас хочу об одном деле...

– Проси, Митя, только шаг не задерживай.

– Узнайте у господина Лепика про Машеньку. Она ведь всегда при вашей матушке в кордебалете танцует. Сильфидой ее прозвали... а сольной партии всё не дают. Очень ей это обидно. Проведать бы у господина Лепика, есть ли скорая надежда?

– Спрошу, Митя, – улыбнулся Карл. – Машенька – твоя невеста?

– Выкупить мне ее надо раньше, – грустно ответил Митя. – Я, Карл Иванович, на это жизнь свою положу. Сумма немалая, но благодаря вашей помощи и господина Бренны я кое-что уже скопил. Годика через два-три авось...

– Будет ли Машенька так долго ждать? Соблазнитель много в балете.

– Она верная, – прервал, вспыхнув, Митя. – Она давеча мне сказала: «Лучше умру, а бесчестьем сольной партии не возьму».

– Хорошо, Митя, что ты веришь Машеньке. Вот и я верю...

Карл запнулся и покраснел. Митя сам деликатно закончил:

– Вашей избраннице, Карл Иванович, тоже вполне можно верить. Умница какая, красавица... Уж я вам для мадригала всё как есть подберу. Куда мне доставить цветы?

– Всю охапку неси прямо к кострам, я туда скоро приду. А просьбу твою, будь покоен, исполню. Ну, беги.

Митя был племянник и крестник замечательного литейщика Хайлова, который спас при отливке монумент Фальконета от гибели. Он был сероглазый юноша, почти с белыми льняными волосами, младший ученик Бренны, который употреблялся больше для работ подготовительных, нежели живописных. Как мастера Возрождения, Бренна почитал приличным иметь штат подростков-помощников при выполнении больших заказов и работ, требуемых двором.

Росси сразу отличил Митю за недюжинные способности, прямодушный ум и, узнав про мечту его выкупить свою невесту, стал ему передавать доходную работу.

Митя нравился ему и сам по себе и тем, что был племянником человека, который вызывал особое уважение. Бецкий передал отливку памятника Петра самому Фальконету, а надзор за работой – русскому мастеру Хайлову. Меди заготовили триста пятьдесят пудов, и когда она, растопленная, была уже пущена в нижние части формы и заполнила их, произошел прорыв, и медь разлилась по полу.

Фальконет в отчаянии, что его труд рушится и честь погибает, выбежал вон из мастерской. Его примеру последовали все рабочие, кроме Митиногo дяди. Один он, не потерявшись, заделал отверстие и стал, с опасностью для жизни, вычерпывать медь и вновь заполнять ею формы.

Отливка вышла на славу, только лишних два года пошло на шлифовку изъяна. За спасение памятника Хайлов получил денежную награду и первым долгом выкупил из крепостного состояния родную сестру с Митей, его крестником. Литейный мастер был крепкий, умный, вольный человек, и Митя, подрастая, наследовал его независимый нрав. Карла Росси он преданно любил, восхищался его талантом и мечтал в будущем, когда женится на свободной Машеньке, строить под его началом.

Карл Росси подходил к даче своего отчима, очень приметной благодаря большой террасе, затканной сверху донизу ярко-красным турецким бобом.

Павел не выносил танцующих мужчин, считая, что самым богом они предназначены быть только воинами. Но для Лепика император сделал исключение: кроме того, что Лепик был европейски признанный танцовщик, он писал балеты на модные классические темы, среди которых попадались и военные – балет «Дезертир».

Феликс Лепик вместе с Гертрудой Росси и ее маленьким мальчиком Карлом – после триумфов в Париже и Лондоне – из Италии приехал в Россию.

Карл значился в бумагах – пасынок Лепиков; так он был записан и дальше на службу при дворе.

После особого успеха поставленных Лепиком балетов собственного сочинения – «Амур и Психея», «Прекрасная Арсена» – ему предоставлена была, к зависти всех прочих актеров, «безденежно» ложа третьего яруса и наивысший оклад.

Феликс Лепик дремал в большом кресле на собственной террасе, а несколько поодаль стоял мальчишка-казачок с длинейшим чубуком в руках. Вся фигурка казачка выражала большое напряжение. По опыту он знал, что если промедлит минуту, чтобы поднести барину, едва он проснется, раскуренную трубку, – размашистый удар по спине этим самым, вырванным из рук, чубуком будет ему назиданием. Казачок не переставая дул на тлеющие угольки, Лепик мирно похрапывал, и черные усы его, отпущенные за лето, пока он не танцевал, а только писал балет, вздрагивали, как у таракана. Нос был горбатый, римский, а брови, как намазанные густой черной краской, полукружием обегали закрытые веками глаза. Одет Лепик был пестро, словно фазан: шелковый халат с разводами, на голове красная феска, узорные шитые туфли на босу ногу.

Сон отчима был чуток. Еще сладко храпел его римский нос, как внезапно приоткрылся карий глаз, с любопытством оглянул Карла, и Лепик прокричал тенорком: – Пасынка бог послал! С чем поздравить?

Он вскочил с кресла, легко подбежал к Росси и скороговоркой насмешливо сказал:

– Веночки, беседки, гирлянды цветов – дамское занятие, дамское... Не вижу для вас в том много чести – не в садовники вас готовили.

Карл что-то хотел возразить, Лепик не дал, сам продолжал, махая руками:

– Говорят, ваш учитель Бренна, как на осле, на вас воду возит... Вашими руками жар загребает. Постоять за себя не умеете. Ну, с чем пришли? Есть до меня дело? Говорите скорей, я сейчас примусь за работу.

Лепик выхватил у подскочившего казачка свой чубук, кинулся обратно в кресло и скоро исчез в клубях дыма, как сказочный волшебник.

Воспользовавшись минутой, когда отчим, занятый делом, принужден был помолчать, Росси, памятуя просьбу Мити, сказал:

– С моей матерью танцует в вашей постановке некая Машенька, именуемая за грацию Сильфидой. Она в кордебалете...

– Знаю Сильфиду и первый ее одобряю, – сказал важно Лепик. – Ну и что же, ты влюблен?

– Она невеста моего приятеля Мити, одного из младших учеников наших. Он просил меня узнать, есть ли надежда получить ей вскорости сольное выступление?

Лепик вынул изо рта чубук и рассмеялся.

– Как раз вчера получила. Из-за ее упрямства твоя мать разбила два хороших стеклянных стакана, пока наконец убедила Сильфиду. Маша свое счастье поняла и сделала то единственное, чего не хотела делать: по приглашению нашего князя Игреева с ним поужинала наедине. А сегодня я получил предписание дать ей партию Амура, И если твой приятель не будет дурить, эта Маша от щедрот князя скорее добудет себе вольную сама, нежели ожидая, до седых волос выкупа от жениха. Убеди этого Митю... Жизнь есть жизнь!

– Как можете вы так говорить? Вы ничего не понимаете в таких людях, как Митя...

Лепик заклепал опять птичьим смехом, потом выпучил страшно глаза и крикнул:

– Умная рыба ищет, где глубже, умный человек – где лучше! Здешняя русская пословица есть истина, а жизнь есть жизнь. Это надо понимать, а вы тоже не понимаете. Почему вы наотрез отказались учиться танцам? Вы отказались от своей фортуны. О, если бы вы танцевали!

Лепик ловко бросил подскочившему казачку свой потухший чубук.

– Если бы вы танцевали, вы могли бы стать наследником славы вашей матери и моей... да, моей славы.

Лепик хлопнул небольшой растопыренной рукой по шелковым разводам выпиравшей грудной клетки и поднял голос, как актер высокой трагедии.

– Если бы вы танцевали, я бы мог вас вполне назвать своим сыном. Но молодой человек, рисующий беседки, цветочки, веночки, вместо того чтобы посвятить себя благородному богу движения, – мне не может быть сыном.

– И желания особого к тому не имею, – сказал холодно Росси.

– Предерзкий негодяй! – вскричал гневно Лепик. Брови его, черные и толстые, как пиявки, вздернулись кверху, щеки побагровели, римский нос побелел.

Карл круто повернулся и пошел в свою комнату переодеться.

– Осел!.. – крикнул ему вдогонку отчим, кидая на пол ноты, пепельницу, черешковый чубук, вырванный у перепуганного казачка, и с нарастающим гневом продолжал: – Пудель любит танцевать... Лошадь любит танцевать... Одного осла надо стегать, чтобы он танцевал. Но и осел танцует... Вы – хуже осла.

Не найдя больше достойных для утишения своего гнева предметов, Лепик дрыгнул ногой и послал далеко в коридор, через незакрытую дверь, свою туфлю с босой ноги.

Казачок, как собачка, стремглав кинулся к туфле и водворил ее снова на ногу барина.

Вдруг Лепик сразу охладился, взял в руки карандаш и, как ни в чем не бывало, стал им выстукивать такт и напевать что-то, черкая в нотах.

А Карл, нарядный, красивый, полный мечтаний о восхитительной Катрин, желая, чтобы его не увидел отчим, черным ходом направился к парадному месту.

Карл шел и думал о том, как он встретится с Катрин. Вероятно, она уже знает, что его не будет на парадном торжестве. Конечно, она не сочтет это для него унижением. Сколько раз сама ему говорила, что таланты выше всякого происхождения. Да, одной ей, восхитительной Психее, хотел Карл рассказать о том, что пережил недавно ночью у памятника Петра. Рассказать, как ему, великому всаднику, и самому себе дал обет – сделаться первым в мире зодчим.

И, взяв ее прекрасную руку, он ей скажет:

– Быть может, вы, Катрин, никому не отдадите вашу свободу, пока я этим зодчим не стану?

Или нет... зачем так долго ждать? Быть может, довольно ему только вернуться из двухлетней поездки в Италию, куда повезти его хочет Бренна. И когда он, как Баженов, привезет из Рима и Флоренции признание его высоких успехов, – с ее умом, свободой взглядов, ужели она сама не скажет смело отцу:

– Я люблю этого художника. У него большое будущее...

И отец-вольтерьянец благосклонно ответит;

– Как вы оба можете сомневаться в моем согласии?

Так юношески мечтая, наслаждаясь медовым запахом лип, Карл вдруг заметил в конце темной старой аллеи два белых платья. Как узнать, кто эти гуляющие так близко от дворца? Карл, чтобы остаться самому незримым, когда белые платья с ним сравняются, спрятался за скамью, укрытую кустами жасмина. В просветы ветвей вдруг мелькнули голубые ленты, как

дымок завился белый газовый шарф, и обе женщины, смеясь, кинулись вперегонки к скамье. Это была Катрин со своей замужней подругой Аделью.

Насмеявшись, они продолжали прерванный разговор, и вдруг Катрин назвала его по имени. Она сказала:

– Какое же благополучное разрешение судьбы любезного Карла Росси вы придумали, дорогая Адель?

Адель, смеясь, вынула из ридикюля книжку в сафьяновом переплете:

– Это наш женский оракул. Здесь советы на все случаи жизни и на самые тайные наши желания. Откроем заветную главу...

– Я хочу прочесть сама. – Катрин потянула книжку.

– Только читайте вслух, ведь в вашем деле заинтересована и я, – лукаво сказала Адель. – Начинайте отсюда. Это подходящий для наших разговоров анекдот прошлого времени.

И Катрин прочла:

– «С некоей мадемуазель Дюшатель случилась беда, неприятная для девицы высокого положения в свете. Она влюбилась без ума в красивого гувернера своего младшего брата. Молодой человек отвечал ей пламенной взаимностью. Каролина – так звали девицу – таяла на глазах своих родителей и знакомых, молодой человек, на ее счастье, был робок».

– Ну, разве это не ваш случай, Катрин? – всплеснула руками Адель. – Но продолжайте, разрешение ваших мук через несколько строк.

– «Старшая сестра Каролины, опытная в сердечных делах баронесса Д., приласкав сестру, ей тихонько сказала: «Я вижу все, дорогая, но помочь вашему горю вы легко можете сами. Скорей примите предложение старого маркиза де Зет, вы станете несметно богаты, и, так как сейчас у нас в моде книжки Жан-Жака Руссо, вы даже подниметесь во мнении света, если вашим любовником станет красавец бедняк. У меня же для вас и для вашего милого всегда найдется уютный приют...»

– Но ведь это решение времени прошлого, – сказала Катрин, – и я думаю...

– Это решение бессмертно, – прервала Адель. – Время только вносит маленькие внешние изменения. Сейчас не только вам надо выйти замуж, но и Карлу жениться на какой-нибудь титулованной, чтобы быть принятым в нашем обществе по праву; руссоизм не в моде, и бедный зодчий списка ваших побед не украсит. Я, конечно, возьму свою долю, – тонко улыбнулась Адель, – но зато отлично сосватаю вашего Карла...

– Хорошо, если б на глупом уроде, – подсказала насмешливо Катрин. – Но как вы мыслите вашу долю?

– О, я не оригинальна, помирюсь как раз на том, чего хочет от своей младшей сестры предприимчивая баронесса Д. Прочитайте...

– «Чтобы все между нами было без облачка и претензии, – сказала старшая сестра, привлекая в объятия свою младшую, – уговоримся сейчас: иногда вместо тебя встречать его буду в гнездышке – я».

Карл, сдерживая дыхание, смотрел на мелкие золотистые кудри Катрин, на ее детскую шею... Психея. Что ответит она?

Катрин сказала тем спокойным, чуть насмешливым тоном, который всегда так казалось Росси – таил в себе и свободу ума и благородство поступков:

– Я принимаю все ваши условия, мудрая Адель.

Она тихо засмеялась, и ее голубая лента, взметнувшись далеко за куст жасмина, шаловливо чуть скользнула по щеке Карла.

Карл рванулся, толкнул нечаянно дерево, под которым сидели Катрин и Адель. На них посыпались листочки и сучья, они вскрикнули и, как лани, помчались далеко по аллее.

Карл, не прибавляя шагу, по внешности спокойно двинулся к месту сожжения костров, но, погруженный в странное оцепенение, вдруг спутал тропинки и не зная как, очутился перед крепостью Бип.

Там шла какая-то возня. Он вздрогнул, сразу не понял, потом сообразил: после вечерней зори поднимают игрушечный подъемный мост.

Несуразная средневековая подделка. Как сравнить эту безвкусную нелепицу с той совершенной Камероновой постройкой, которую Павел приказал здесь разрушить? Это грубое зачеркивание произведения большого мастера, эта возведенная на его месте тяжелая, как солдатский прусский сапог, крепость сейчас вдруг до слез оскорбила его.

Не так ли всё в жизни? Не так ли она, Катрин, его Психея, растоптала его любовь? Она, конечно, выйдет замуж с расчетом и спокойно отдаст руку тому, с кем выгодно вступит в сделку ее вольтерьянствующий отец. А после, как все... заведет салон и займется игрой в любовь. Неужто эти умные глаза, этот рот, сладостно изогнутый, эти движения, полные грации, – одна оболочка, прикрывающая пустое и грубое сердце?

Карл стоял, недвижно прислонившись к большой березе. Ему казалось оборвалась его жизнь. Час тому назад он в полноте радости и надежд погрузился мечтами в воображаемый, полный чувств, разговор с Катрин, и вот через миг, как при землетрясении, пред ним вдруг разверзлась на месте цветущего сада бездонная пропасть. Страшные речи возлюбленной, которые он только что услышал, обличая холод ее сердца и раннюю развращенность, убили его любовь. Карл плакал и не замечал, что плачет. Он пришел в себя, когда вблизи пробили башенные часы, и привычка к ответственности за работу заставила вспомнить, что нельзя терять времени.

Глава третья

Карл Росси, слегка запыхавшийся от быстрой ходьбы, но подтянутый, точный, каким всегда был в работе, появился на парадном плацу у костров, сложенных в клетку, из чистых, стройных березок. Белоснежные, с черными отметинами, они издали казались мантией из горносталя.

Рабочие подкатали целые тачки великолепных цветов: во множестве были здесь розы орхидеи и стойкие декоративные циннии...

– А я уже боялся, что мы запоздали, – сказал Митя, – увлеклись с садовником. Вот примите, Карл Иванович, тут все оранжерейные богатства на выбор для вашего мадригала. Затем... Но что с вами? Не случилось ли чего? с беспокойством глянул Митя на вдруг побледневшего, как от сильной внезапной боли, Карла.

– Нездоровится что-то, – отрывисто сказал Рос-си. – Сейчас не до разговоров, Митя, как бы нам не опоздать.

И Росси стал распоряжаться окончательным украшением костров. Когда окончили, Митя отбежал, чтобы прочесть по цветам обещанный Катрин мадригал, но, хотя он отлично проштудировал «язык цветов», – ничего не получилось.

– Как же у вас тут построен стишок, Карл Иванович, – постичь не могу... Либо эти лилии не у моста, либо шарлаховый тон тех бутонов... Уж нет ли ошибки?

– Читать здесь совершенно нечего, Митя, – спокойно ответил Росси, мадригала нет и не будет.

И, поймав безмолвный вопрос в глазах друга, предупреждая его нескромное любопытство, поспешно добавил:

– Я навсегда желаю забыть имя той, кому были предназначены стихи.

Митя слушал и укоризненно молчал. Росси, вспыхнув, поспешно добавил:

– Поверь, Митя, основание есть... Не спрашивай, не поминай мне ее...

Карл вдруг смешался. Он вспомнил, какой ценой Маша-Сильфида, невеста Мити, получила наконец сольную партию. Неужто сказать ему?... Нет, он не мог нанести другу сердечную рану, так схожую с той, которую только что в аллее старых лип нанесла ему Катрин. Не глядя на Митю, он смог только вымолвить:

– Твоя Маша, сказал отчим, сегодня танцует с моей матерью в здешнем театре. Кажется, роль Амура...

– Извещен уже ею... – блаженно улыбаясь, сказал Митя. – Умудрилась цидульку мне прислать: назначила свидание после танцев, у Аполлона... И просьба моя к вам, Карл Иванович: придите туда же, когда зажгут фейерверки. Нам оттуда все будет видно превосходно, а я хочу в вашем присутствии взять торжественное обещание с Маши, что она будет меня ждать непоколебимо среди всех соблазнов. Чай, теперь их у нее прибавится... Не подумайте плохого о Маше, Карл Иванович, я по-прежнему в ней уверен. Но именно ваше присутствие как свидетеля – это новый шаг, закрепляющий пока духовные наши узы. Мы оба вас ценим безмерно, вы мне – как старший брат.

Росси глянул в добрые восторженные глаза Мити, крепко пожал руку и горько подумал: еще немного часов – и конец его радости.

– Да, Митя, я непременно приду к Аполлону.

– Карл Иванович, я оставшиеся белые розы отдам вечером Маше – ведь можно?

– Конечно, Митя, отдай...

Послышался звук трубы – сигнал для общего сбора на празднество. Росси и Митя быстрым шагом пошли к дворцу.

Эскадрон копейной гвардии был уже размещен по пути следования на парадный плац. Кавалеры и командоры, приехавшие из Петербурга, в супервестах прошествовали по два в ряд.

Павел под звуки труб и литавр в большой тронной зале дворца занял вместе с женой места на троне. Великий сенекал Нарышкин, чья должность соответствовала гофмаршальской, поднес Павлу на золотом блюде факел. Пажи вручили факелы всем прочим, и процессия двинулась к кострам.

Росси хорошо видел издали всю церемонию сожжения костров. Процессию открывал церемониймейстер Ордена, тот самый, который его вычеркнул из списка. Сейчас его незначительное, мелкое лицо было важно, и сам он в нарядном облачении как будто стал выше ростом и дороднее.

За ним, по два в ряд, начиная с младших чинов, шли капелланы. Кто-то из толпы людей, стоявших сзади Росси, скрытый уже наступившей темнотой, отчетливо называл чины и достоинства, с особенным удовольствием выговаривая трудные, никому не понятные звания:

– Вот эти расшитые, с лентами – кавалеры Большого Креста, а те конъюнктуральные капелланы... кавалеры по праву российского приорства свои, русские, они от государя направо, а католики с левой стороны.

И заспорили, что почетней: правая рука, десница, старше левой, но зато левая ближе к сердцу.

Вся процессия, торжественная и нарядная, три раза обошла вокруг девяти костров. Росси знал, что для большинства придворных эта церемония была смехотворна, и даже вечный страх перед внезапностью гнева государя сейчас не мог сдерживать то тут, то там насмешливых улыбок и перемигивания.

Но большинство пыталось истово исполнять ритуал, как службу, как новый вид фрунтовой повинности. И только один император, в роскошном облачении, в тяжелой короне на полысевшей голове, высоко подняв курносое лицо, с вдохновенной молитвой смотрел в небо. Он веровал в спасительную силу обряда мальтийских рыцарей.

Когда император остановился, великий сенекал взял из рук его факел, зажег его и вручил ему обратно. Камергеры подошли к членам совета, и когда огни вспыхнули у всех, Павел возжег первый костер.

Мария Федоровна, княжны, придворные девицы и дамы смотрели на торжество из роскошной палатки черных, белых и красных полос.

Вечер был прелестной нежности, без ветерка, и с веселым треском горели костры. Купы деревьев, искусно расположенных Камероном, живописно освещались живыми языками пламени. Вдруг взвились разноцветные ракеты и, добежав до середины потемневшего, но еще прозрачного неба, как бы завидя оттуда покинутую отчизну, стремглав упали в веселые воды Славянки. Император, отстояв, сколько полагалось по ритуалу перед пламеневшими кострами, пошел садиться в золотую карету. Сквозь стекла ее, в которых дрожали багровые отсветы, Росси видел все то же лицо, застывшее в экстазе, и золотую корону в бриллиантах.

Росси в раздумье тихо шел по тропинке к храму Аполлона и невольно остановился, когда ему путь пересекла Катрин. Она была одна и, видимо его давно за приметив, с намерением здесь поджидала.

– Ваши цветы на гирляндах ни по какой азбуке мне ничего не сказали. Отчего же вы не держите обещания? – сказала Катрин кокетливо, но с заметной досадой.

Карл ответил ей холодным, отстраняющим голосом, сам себе дивясь, куда вдруг ушло недавнее чувство:

– По вашей вине у меня пропала охота сказать вам что-либо не только на языке цветов, а простыми словами...

– Какая немилость, – насмешливо сморщила губы Катрин. – Что же, в вашем сердце другая?

– Во всяком случае – единственной в моем сердце больше никогда не будет. Вы меня излечили навсегда. Как у всех, у меня отныне будут многие... но не одна.

– Что за дерзости... чем они вызваны?

– Извольте, скажу – и на этом мы кончим. Несколько часов тому назад я в старой липовой аллее собственными ушами слышал, как вы с вашей подругой торговали моей персоной. Вы с ней условились поочередно играть со мною в любовь, предварительно женив меня на титулованном уроде...

– Так это вы обрушили на нас целый водопад листьев и сору? – Катрин несколько смущенно засмеялась, все еще не веря серьезности Карла. – Месть дикаря. Ваш вкус надо развить... Хотите, я этим займусь?

Карл церемонно поклонился:

– Я предпочитаю руководствоваться вкусом собственным.

– Но, Карл, вы не так меня поняли...

Катрин впервые и очень нежно назвала его по имени, но Росси, поклонившись ей еще раз, не оглядываясь направился к колоннаде Аполлона.

Статуя Аполлона стояла в двойном круге благородных дорических колонн. Мягкое журчание каскада, большие камни, поросшие мохом, – всё вместе, овеяная поэзией, переносило в древние века оживленной богами природы.

Карл Росси шел и думал, что как у него, так вот сейчас рушится и первая любовь его друга – Мити. Успел ли он отдать белые розы невесте?

Развалины Аполлонова храма освещены были луной, и не мог Карл не подумать, насколько этот серебряный вкрадчивый свет благородней разноцветных огней только что отгоревшего фейерверка.

Чуть голубели, светились фосфорным светом колонны старого дорического ордена, и среди них на высоком цоколе стоял юный бог, совершенство соразмерности и гармонии. От лунного света бронза, из которой Аполлон отлит был Гордеевым, не утратив точности контуров, как бы окуталась легчайшей дымкой и утратила свой вес и плотность. Дополнить чудесную картину могли только звуки какой-нибудь воздушной золотой арфы. И Карл болезненно вздрогнул, услышав чье-то отчаянное, полное большого горя рыдание...

Митя лежал на скамье, зажав в ладони лицо, и плакал, как ребенок. У ног его на каменных плитах, особенно ярко освещенные луной, белели не поднесенные невесте розы.

Карл приподнял со скамьи и безмолвно обнял друга.

– Все кончено между нами, – сказал Митя. – Она получила свободу из рук князя, меня слишком долго ей ждать... О проклятая наша жизнь!..

– Не кляни ее, Митя, – сказал твердо Росси, – наша жизнь только что начинается... И может быть, хорошо, что начинается с такой горькой личной утраты. Искусство ревниво... отдадимся ему без оглядки. У нас с тобой одна судьба...

Митя горячо прервал Карла:

– Нет, Карл Иванович, у нас не одна... У нас с вами разные судьбы. Вы – великий талант, им вы ответите миру. А я – человек обыкновенный. Я в художники пошел ради невесты, соблазнился скорей ее выкупить. Настоящего призвания у меня нет. Мне суждено другое...

Митя совсем оправился. Теперь он шагал взад и вперед, освещенный луной. От ее света он сам становился серебряным, а попадая в тень, внезапно потухал. Митя остановился перед другом:

– Карл Иванович, пока людей возможно продавать, как скотов, пока можно отнять невесту, потому что нет денег для ее выкупа на волю, я душу мою положу, чтобы с этим бороться. Не знаю как, не знаю где, но я путь найду.

Карл обнял Митю, и долго молча стояли два друга перед цоколем бесстрастного бога гармонии.

Глава четвертая

Двадцать девятого июня, на Петра и Павла, как обычно, была блестящая иллюминация в Павловске – день ангела императора.

Укрытые цветущими кустами придворные певцы и певицы распевали стихи Нелединского-Мелецкого:

Сторона, как мать родная,
О возлюбленно Павловско...

И еще другой стишок, полный детской преданной любви, исторгавший из очей чувствительной Марии Федоровны слезы и умилавший самого государя:

Наш надёжа государь,
Православный белый царь,
Нас скрывает в свою пазушку:
Отирайте, мои детушки,
Вы с очей горячи слезушки,
Подбивайтесь, мои милушки,
Под мои ли теплы крылушки.

Защитительные костры Ивановой ночи всё еще оказывали на Павла свое благотворное влияние. Непокосимой пребывала в нем уверенность в особой охране и личной безопасности. Патер Грубер, ежедневно вручая искусно им приготовленный «иезуитский шоколад», проникновенно напоминал, сопровождая слова ласковым внушающим взором, что отныне вокруг гроссмейстера Мальтийского ордена, главы рыцарей всего мира, незримо присутствует небесная стража.

Павел, получив долгожданный покой, отогнал от себя подозрительность. С благожелательным вниманием слушал он доклады своих вельмож – то ли на террасе в саду, то ли в Камероновом изящном павильоне Трех граций.

Однако в начале августа злая судьба словно позаботилась замутить его недолгие светлые дни.

Распустил некто слух, что будет тревога, солдатам она вдруг почудилась, и с примкнутыми штыками они ринулись вверх по горе со стороны трельяжа. Здесь их остановил сам Павел, катавшийся неподалеку верхом. Слегка побледневший, но вполне владея собой, он похвалил за порядок семеновцев и отечески пожурил преображенцев за то, что бежали вразброд.

Мария Федоровна плакала. Ее губы, еще сохранившие свежесть, дрожали, и жалобным, тонким голосом, который в первые годы брака заставлял Павла исполнять немедля желанья супруги, а сейчас раздражал, словно писк комара, Мария Федоровна просила:

– Запретите, мой друг, собираться толпе. Когда эти люди мчатся вперед, как бизоны, я их ужасно страшусь. Сигнал к тревоге исходить должен только от вас. От монарха...

Государь любезно согласился с женой. Благодарил за усердие окружившие дворец столь поспешно войска и в причину тревоги углубляться не стал. Но, удалившись в свою опочивальню, внезапно охвачен был приступом оставившей было его подозрительности.

Можно ли было верить Марии Федоровне, жене, которая могла в свое время скрыть от него, супруга, что Екатерина принуждала ее дать свое согласие на лишение его насильственно престола?

После смерти матери сам он нашел этот документ. Когда Мария Федоровна после родов младшего сына, Николая, еще оставалась одна в Царском Селе, матушка потребовала у нее подписи на заготовленном акте его предполагаемого отречения. Правда, самой подписи жены не стояло, – было только обозначенное, заготовленное для нее место, – и Мария Федоровна уверяла, что Екатерина сильно разгневалась по поводу ее отказа, а она сама все это дело скрывает от него, Павла, из великой к нему любви, оберегая его чувства к матери.

Отказалась... Павел горько усмехнулся. Свои расчеты у нее: участвовать в лишении престола отца ради сына не захотела, но, при ее тщеславии, о престоле для себя самой мечтает. Пример не за горами – ведь тридцать четыре года царствовала незаконно, после смерти Петра Третьего, его матушка. Россия слишком привыкла к правлению женщин... И Павел не выполнил просьбы Марии Федоровны, не запретил собираться по неизвестно кем данной тревоге, указал только место для сбора.

Загадочное происшествие вскоре опять повторилось; царская семья, вся бывшая на прогулке, поражена была криками, суматохой, вразброд устремившимися к захвату гусарами и казаками. Павел кинулся к назначенному пункту, произвел дознание – оказались сущие пустяки: рожок почтаря ошибочно приняли за сигнал, барабанщики ударили в барабаны, полки двинулись.

Но окружавшие его солдаты с неподдельным простодушием такое выразили о нем беспокойство, что Павел до слез был растроган. Вот солдатам он верил, а жене, едва глянул в ее глаза, изображавшие верность до гроба, – не поверил. И как делал раньше, не желая слушать придуманных ею домыслов, убежал скорее в глубь парка.

Нет, сколь ни борется он с собой, нет больше здоровья душе! Видать, неизлечимым осталось то глубочайшее потрясение, которому был подвергнут родной матерью почти в день смерти его первой, так беззаветно, так молодо любимой жены Натальи Алексеевны.

Видать, навеки разбил его сердце и помрачил разум тот страшный миг, когда матушка сочла нужным сообщить ему с неотвратимыми доказательствами об измене ближайших ему людей – любимой жены и друга ближайшего Андрея Разумовского...

Быть может, той внезапностью потрясения она хотела свести с ума нелюбимого сына, вечного наследника, как звала его, рассердись, Мария Федоровна, и уже на основании законном объявить его лишенным престола...

Вот она – незаживающая рана. Порой сдается, что затянулась, что всё в прошлом, всё позади. Но вот малейший повод – и всё горше прежнего. Ведь если Мария Федоровна еще так недавно, хоть сгоряча, но могла ему сказать: «пожилой вечный наследник», – сколько чувствует она как женщина к нему в своем сердце презрения! И поставить себя на его место, захватить трон, как сделала его мать с его отцом, – ужели не приходит ей в голову?

Если первая, любимейшая жена, первейший друг могла так предать, а родная мать – нанести смертельный сердцу удар, что ждать от этой весьма тщеславной спутницы жизни?

А ведь основой чувства его было с юности – великодушие, щедрость, любовь. Да еще недавно... разве не эти качества толкнули его обласкать своего врага лютого – Платона Зубова? Тронутся рыданием его над телом покойной царицы, поднял его, с неистовым чувством при всех вскрикнул:

«Кто старое помянет – тому глаз вон!»

Дворец подарил Зубову. Из кабинета двора приказал заплатить тайному советнику Мятлеву за тот дом сто тысяч. За обедом здравницу врагу лютому возгласил;

«Сколько капель в сем бокале, столько лет тебе здравствовать!»

– Ни в чем меры не знаю... – горько прошептал Павел и погромче сказал:

– Нет, не прошла обида на Зубова. Внутрь загнал ее, а она вдвое лютее.

Вот они, старые охотничьи домики. Сюда спасался в тот страшный день, когда Зубов за обедом у матушки оскорбил, а она не вступилась.

Забавно рассказал что-то за обедом Зубов, и Павел, позабыв свои злые с ним счеты, весело засмеялся, а тот, приняв несносный свой чопорный вид, дерзко вымолвил: «Сморозил я глупость, что наследник изволит веселиться?» Не оборвала мать фаворита, напротив, своим молчанием подтвердила мнение, что сын – дурачок и до сознания его доходить могут одни глупости.

Воскрешенная памятью обида – что снежный ком: двинулся невелик, а докатился до подножия горы – сам горой стал.

Плетей достоин тот Зубов, а он, император, Дон-Кихот наших дней, дворец ему жалует, придворную ливрею, чтобы покрепче запомнили: через матушкину спальню Зубовы с ним породнились, одного корня стали.

И вот не удержался, гневный приказ вырвался сам собой: генерал-фельдцейхмейстера графа Платона Зубова – вон из службы. Вон из России, за границу, в свои литовские имения пусть убирается.

Черт его веревочкой с этим фаворитом матушкиным связал. Несет проклятье его судьбе этот человек. Вот и сейчас кабы новой беды не накликать.

Самый выезд Зубова за границу вплел зловещее звено. На его путь императорский бросил черную предостерегающую тень: вызвал бешеный гнев на барона фон дер Палена. Роковой этот гнев, ибо он вызван в самый день закладки Михайловского замка, последней твердыни, оплота от предателей.

Через Ригу должен был въехать польский король Станислав-Август, ему готовилось торжество, встречи, парадный обед. Но король, чего-то замешкался, вместо него объявился в Риге Зубов. И вот ему как русскому важному генералу рижские бюргеры воздали королевскую честь, – не пропадать же закупленным на парадный обед яствам и винам.

Павлу обо всем последовал донос, а от него немедленно приказ: выключить со службы барона фон дер Палена.

Но по тайному учению масонскому, ему известному, если при закладке нового здания омрачен дух закладчика гневом, нет и не будет делу успеха. Ничто, предпринятое в гневе, на пользу не пойдет. Еще хорошо, что не кто иной – свой, верный человек под его гнев подвернулся.

Фон дер Пален сейчас – граф и военный губернатор города и человек ближайший, доверенный. Этот не предаст.

Сейчас Мария Федоровна на очереди, она всех больше мучает. Но когда же, собственно, с ней началось?

Оглянувшись, увидел вблизи скамью Оленьего мостика: вот на этом месте еще в прошлом году впервые сам себя испугался, потому что назвал свою болезнь. Имя ей – безумие. До тех пор носил в себе, и не называл, и не ведал, что это болезнь.

Павел не сопротивлялся воспоминаниям, и они влекли его неумолимой своей постепенностью...

Прошлой осенью были большие маневры в Гатчине – любимые угрюмые места, верные гатчинцы. Все вышло удачно, всем остался доволен. Отдохнул душой и приехал обратно веселый к своей семье в Павловск. Радовался всех увидеть, и даже наследника Александра.

Первенец, любящий сын, кто смеет на него клеветать?

И почему ему не быть любящим сыном? Разве претерпел он от отца то, что самому Павлу пришлось претерпеть от матери, великой императрицы? Нелюбовь ее, оскорбительную скупость, в то время как на очередного фаворита миллионы бросала? Кто был он при матери? Незаконно лишаемый трона, преследуемый призраком убитого отца. Прочь, прочь недоверие к Александру!

После успешных гатчинских маневров поехал в Павловск. Было отменно приятно, спокойно на душе, но вдруг странно поразило, что никто из, домашних при въезде его не встре-

чает. Однако не рассердился, а, озабоченный, любопытствовал узнать, не случилось ли чего, здоровы ли все.

А произошло то, что супруга Мария Федоровна, в своей немецкой сентиментальности припомнив, как любили у нее в родном Этюпе всякие нежные сюрпризы, придумала устроить ему встречу в костюмах и гримах. Некий, словом, затейливый домашний машкерад.

Когда, уже не на шутку встревоженный, он далеко впереди свиты почти побежал ко дворцу, вблизи Крика раздалось пенье, чудеснейший хор. И тотчас некий аванажный мужчина, вроде хозяина дома, стал, низко кланяясь, приглашать почтить его посещением.

– Верно, Нарышкина затеи... посмотрим, чего начудил, – сказал свите император, развеселясь и входя сам в игру.

Тут окружен был он хористами и завлечен ими в хорошенький сельский домик под пение:

Где же лучше, как не в недрах собственной семьи...

И на пороге дома кто-то в сладостных слезах радостной встречи пал ему в объятия.

Батюшки, супруга Мария Федоровна. Отяжелела, сударыня, однако ловко ее подхватил и любезно оглянулся, слушая концерт нарядных маркиз и маркизов. И вдруг всех узнал: скрипач – Александр, певица – его супруга Елизавета Алексеевна, а дочери – кто за арфой, кто за органом.

– Ловко средь бела дня сумели меня одурачить, – то ли в похвалу, то ли с осуждением вымолвил.

Сразу и не разобрал, кто кем наряжен. Обошли, слов нет, обошли. А в шуточном сумели, сумеют и в главном. В том, чего тайно хотят и сын и жена. Престола хотят...

Схватило удушье, предвестник великого гнева. Того, с которым не справиться. Поражая всех, вдруг вырвался из объятий, выбежал, хриплым голосом крикнул: «Не смей за мной!» Сам себя испугался. Убежал, чтобы не отдать приказа Кутайсову: «В крепость тех двух – мать и сына. В Шлиссельбург!»

Вот тут, на этой самой скамье, опомнился. И то, что медлил понять и назвать – свою несказанную муку, назвал: безумие.

Сейчас тихие над ним мерцали звезды. Всюду в парке был великий покой. Только речка журчала.

Нет, ни патер Грубер, ни костры Мальтийского ордена – ничто ему не в силах помочь. И без конца терпеть безумие на троне кто станет?

Недаром, когда рыли фундамент для возведения Михайловского замка, нашли монету чеканки считанных дней злополучного императора Иоанна Антоновича – плохое предзнаменование. Ужели бывают предначертанные, роковые судьбы? Но помирать, как одураченный, усыпленный всякими там машкерадами, слуга покорный! Лучше сам я всех обдурю. Буду защищаться – я император, помазанник. Архистратиг Михаил – мой страж.

Павел поспешно вернулся во дворец, призвал архитектора Бренну и, не слушая больше никаких возражений о сырости, вредной здоровью, гневно приказал без проволочек заканчивать Михайловский замок.

Глава пятая

Бренна дал Карлу Росси уверенность на вывоз всех чертежей, планов и рисунков заканчиваемой постройки Михайловского замка. Их надлежало передать на выставку в Академию художеств.

Душевное состояние Карла было отчаянное. Им владело одно желание хоть на короткий срок бежать от этих мест, где его первое восхищение женщиной, первая юношеская любовь были так грубо поруганы.

И казалось ему, это навеки лишило его надежд на счастье. И не отпускало ощущение, что рухнула защищавшая от пропасти цветущая ограда, и вот – под ногами бездна. Такое безудержное горе его охватывало порой, что кружилась голова и дело валилось из рук.

Присутствие Мити сейчас ему было желаннее всего. Оба без слов понимали друг друга. Митя окаменел в своем отчаянии, и Карл, чувствуя себя старшим, находил для него слова бодрости, которые вдруг стали, помогать и ему самому. Он стал опять верить, что искусство выведет его из охватившей тьмы душевной...

Выйдя на Охте из экипажа, Карл и Митя сели в ялик и поплыли к Фонтанке, к Михайловскому замку. Яличник налег на весла, Митя взял другую пару. Карл сел за руль, ялик пошел, как чайка.

Высоко над горестями людей, прекрасные в своем бессмертии, стояли творения гениальных зодчих, и Росси невольно подумал, что, быть может, нужны человеку великие личные утраты как исходная точка для создания чего-нибудь большего, чем он сам. Митя снял шапку, и стриженные под скобку волосы, уже выгоревшие на солнце, как густой парик обрамляли загоревшее безбровое грустное лицо.

– Игла адмиралтейская, – слабо улыбнувшись, указал он веслом, – сколь стремительно пронзает она голубую высь!..

– Она – как сверкающий на солнце обнаженный меч, самим Петром подъятый на защиту города, так бы воспеть ее поэту, – подхватил Росси и с привычным вниманием скользнул по коробовскому Адмиралтейству.

– Живая история города и самого основателя навеки связана с Адмиралтейством; сколько великих побед его вспомнит тут всякий, когда они прославлены будут барельефами, – и захват северных морей, и шведы... развитие торговли и промышленности.

Карл широко указал рукой на оба берега Невы:

– Чудеса наших зодчих. Да, если сам хочешь стать мастером, надо принять в себя, выносить в себе, как мать – ребенка, тоже не меньшее, чем они. Найти новое, подымающее этот чудесный город, пойти еще дальше в соразмерности частей, в гармонии – ведь здание строится навсегда и для всех людей. Непогрешима, как математика, должна быть работа зодчего.

– Куда же дальше этого? – указал Митя на Мраморный дворец Ринальди.

– Ну могу тебе сказать, Митя, сам еще не знаю. Только повторять никого не стану, я найду свое слово в зодчестве, как ты давеча сказал мне, что найдешь в жизни свой путь.

– И послужу им родному городу, – тряхнув кудрями, повеселев, сказал Митя. – Как в сказке, по щучьему веленью воздвиг его здесь великий Петр. Что людей на работе легло! Дядя Хайлов сказывал, дед наш тут в основание тоже залег. На родных мне костях город наш... Дядя Хайлов монумент Петров с опасностью для собственной жизни, как вам известно, спас, ну, а мне уж не украшать город придется, а исправлять в нем великое зло бесправия.

И снова, как раньше, смелый, сильный, вдруг загоревшись румянцем, Митя спросил:

– Про Павла Аргунова ничего не слыхали, Карл Иванович? Ведь он сюда приехал из Останкина.

– Очень хочу его повидать, – обрадовался Карл. – Большой талант этот Аргунов, с каким вкусом дворец в Останкине построил, а отделка комнат по его указанию восторг вызвала даже за границей. Недавно польский король Останкино посетил, говорят, сказал, что его дворцы много хуже.

– И у нас прославлен этот Аргунов, а сейчас, знаете, он кто? – Митино лицо дрожало от негодования, он отрывисто и гневно сказал: – Сейчас он поставлен своим барином здесь, в Фонтанном доме, надзирать за тем, чтобы гуляющие в саду не обрывали кустов малины и крыжовника. Да вот лучше сами его расспросите, он у Брызгалова сегодня будет, а нам ведь там ключи получать. Да вы меня не слушаете, все свое думаете...

– Запомни, Митя, – сказал Росси с некоторым волнением, – не одно здание, которое строишь, в центре твоего внимания: все пространство надлежит организовать вокруг. Весь окрестный пейзаж, все, что может глаз охватить. Здание – центр. Все, все связано с этим центром. Если весь город перестроить в новой, дивной гармонии, – я уверен, и люди, в нем живущие, найдут в душе своей великий покой. Найдут и порядок и силу самим что-либо сотворить. Ведь все, среди чего мы растем и живем, что видит наш глаз, слышит ухо, – нечувствительно образует наши чувства, ум и вкус. А творцом, Митя, каждый человек быть обязан. В чем, как, кем – его дело. Но обязан вырасти из себя самого и создать что-либо.

Карл оборвал речь, задумался. Яличник свернул на Фонтанку. Издали предстала громада ярко-красных, под заходящим солнцем как бы раскаленных, камней Михайловского замка.

Митя с озорством воскликнул:

– А все-таки насколько слабее великих зодчих наш с вами учитель, Карл Иванович! Только что государю сумел угодить.

– Ты слишком строго... – прервал Росси. – Можно найти точку, с которой и в постройках Бренны открывается живописная перспектива.

– Вы же сами учили, Карл Иванович, что архитектура удачна, если в ней со всех точек здание хорошо. А уж чего-чего в этом замке не налеплено?

– И все-таки замок – уже необходимая принадлежность города нашего, значит, что-то угадано верно. Правда, трофеев многовато и единой композиции нет.

Винценти Бренна приехал из Варшавы, где занимался росписью плафонов арабесками. Поначалу он работал живописцем в Павловске, выполняя задачи Камерона. Он оказался незаменимым, в украшении придворного быта во вкусе Павла. Рукой мастера сочетал военные трофеи – орлов, венки, колчаны, полные стрел, гирлянды, оружие, хотя рисовальщик был слабый.

Карл помнил свое старшинство и не хотел соединяться с Митей в осуждении учителя. Однако и ему давно наскучила назойливая напыщенность Бренны: бархатные его занавесы, марсиальные уборы, рыцарские доспехи. Но вслух он выразил только последнюю, обобщающую мысль:

– Русское зодчество сейчас словно в раздумье – вернуться ему к своему прошлому или искать новых форм. Но каких?

Яличник причалил вблизи законченного средневекового замка во вкусе императора Павла.

Росси пошел по узкой аллее между зданиями манежа и сразу наткнулся на расклеенные на столбах афиши сегодняшних спектаклей. Во французском театре шло «Дианино дерево» – перевод с итальянского придворного капельмейстера Мартини. В театре Гритри пела красавица Шевалье. Сводная сестра Карла была замужем за ее братом, и от сестры он знал, что одновременно пользовались успехом у красавицы-певицы император и его камердинер Кутайсов. Мать Карла, Гертруда Росси, сегодня не танцевала, и он решил зайти к ней, чтобы вместе ехать в Павловск.

Карл и Митя вошли в портал на восьми дорических колоннах красноватого мрамора. Трое решетчатых ворот между гранитными столбами, вензель Павла в кресте Иоанна Иеруса-

лимского, орлы, венки, гирлянды из вызолоченной бронзы, – на это Бренна мастер, – так и пестрят в глаза. Средние, главные ворота распахиваются только для семьи императора, – вошли слева в аллею из лип и берез, посаженных еще при императрице Анне Иоанновне. Налево экзерциргауз, направо конюшни. Аллея упирается в два павильона, где живут чины двора.

– Что, мы сразу зайдем к Брызгалову, – спросил Митя, указывая на окно комнаты кастеляна Михайловского дворца, – или обежим постройку?

– Обязательно обежим, давно я тут не был, – задумчиво огляделся Росси.

Прошли через ров укрепления на площадь Коннетабля.

Привычным общим взглядом охватил Росси возвышавшийся перед ним правильный квадрат, со всех сторон окруженный рвами в гранитных одеждах. Пять подъемных мостов переброшено было через рвы.

– Не алый, не пурпуровый, а какой-то сказочный, драконовой крови этот цвет. Точно ли говорят, – спросил Митя, – что это наш император навеки закрепил свою рыцарскую любезность по отношению Анны Гагариной? Будто явилась она на бал в такого цвета перчатках, а он тотчас одну из них послал как образец составителю краски для Михайловского замка, для наружных дворцовых стен.

– Похоже на правду, – усмехнулся Росси, – но лучше бы этот цвет остался только на перчатках Гагариной, – там он много уместнее, чем здесь. Однако вообрази, Митя, сейчас я уже полюбил эту багровую грудку камней. Полюбовался как-то этим пламенем среди темно-зеленых куц при закате солнца, полюбовался приглушенными, неожиданно мягкими, теплыми тонами среди серебристого петербургского тумана – и понравилось. И уже неотъемлема от лица нашего города мне вся эта громада.

Росси указал на торчавшие при самом входе в замок два обелиска из серого мрамора. Они вырастали до самой крыши. Но по бокам в маленьких шипах стояли несоразмерно мизерные статуи Аполлона и Дианы. Повыше шел фронтон паросского мрамора работы братьев Стаджи, изображавший Историю в виде Молвы. Еще выше две богини Славы держали герб императора Павла. И опять обилие вензелей, какое-то страстное утверждение своего имени.

– Не по душе мне, Карл Иванович, поверх всего этого железная крыша, выкрашенная притом зеленью, – ворчал Митя.

– Да и ряд плохих статуй с коронами и щитами не украшает, а только тяжелит, – запрокинув голову, отметил Росси. И медленно прочел на порфировых плитах фриза:

«Дому Твоему подобает святыня Господня въ долготу дней».

– Карл Иванович, – совсем уже шепотом сказал Митя, склонившись к его уху, – знаете, что про эту надпись в народе пущено? Богомолка сказывала... будто юродивая со Смоленского кладбища прорекла: сколько букв сей надписи такова долготы лет и императора. А ну-ка посчитайте, сколько букв.

– Ерунда, Митя! – воскликнул Карл.

Однако буквы сосчитали оба, проверили – сорок семь.

– Тоже выдумал – богомолка слушать, – досадливо сказал Росси и, обойдя замок со стороны Летнего сада, остановился перед круглой лестницей из сердобольского гранита, которая вела в обширные сени с мраморным белым полом и дорическими красноватыми, тоже мраморными, колоннами.

На площадке лестницы по обе стороны стояли великолепные статуи Геракла и Флоры, вылитые из бронзы в Академии художеств.

На гранитных консолях две бронзовые вазы, аттик с шестью кариатидами, обширный балкон над колоннадой и барельеф работы Лебо из белого мрамора. Все это было прекрасно, взятое отдельно, но не давало того общего стиля, единого вздоха, который восхищает в архитектурном совершенстве.

И, пытаясь разъяснить Мите, почему получилось столь путаное нагромождение, Росси извиняющим тоном сказал:

– Бренна не вполне виновен. Он уверяет, что так именно расположить статуи и обелиски ему приказал сам император.

От долгого неудобного положения задранной вверх головы Карл вдруг ощутил, как она у него болит, как вообще он разбит, как устал пред людьми и самим собой делать вид, будто ему совсем легко от погибшей любви, от обидного легкомыслия своей матери.

В мозгу настойчиво, как жужжанье злого веретена, застучали слова: Карло Джакомо Росси... сын итальянки, отец неизвестен. По-русски без отчества нельзя, и ему из второго личного имени Джакомо сделали Иванович. Никакой отец по имени Иван ему неведом.

Глава шестая

Чертежи и планы, которые надлежало отвезти на выставку, в Академию художеств, были сданы на хранение кастиеляну Михайловского замка Ивану Семеновичу Брызгалову, человеку примечательному, известному всему городу.

Сын крестьянина Тверской губернии, он поступил в истопники Гатчинского дворца, когда Павел еще был наследником, и привлек его внимание тем, что с неописуемым восторгом, раскрыв рот, следил, как печатали свой шаг гатчинцы. Созвучие родственной души было у него с Аракчеевым, и столь же, как тот, оказался и Брызгалов «без лести предан». Вскорости он был сделан камер-лакеем, а затем и гоф-фурьером. В дни воцарения Павла Брызгалов в своем звании явился в Петербург, где пожалован был уже в обер-фурьеры Михайловского замка.

Как только замок достроился, Брызгалова, как лицо доверенное и проверенное, назначили кастиеляном внутренних дворов с обязанностью наблюдать за своевременным поднятием и спуском мостов над каналами, которыми замок был окружен.

Брызгалов женился на дочери одного из придворных служителей Зимнего дворца и немедленно превратил свою жену в боязливую рабыню, неустанно попрекая ее, что цвет красный, присвоенный ливреям Зимнего дворца, где был ее отчий дом, ниже краской, беднее, чем цвет малиновый, который император утвердил за одеянием дворцовой службы Михайловского замка.

Брызгалов, мелкая пылинка, попавшая в орбиту самодержавного солнца, был, как и царственный хозяин его, охвачен болезненной манией величия и, по мере своих возможностей, воплощал ее в свой быт.

Одевался с иголки по форме, в руках носил саженой вышины трость для представительства. Двое мальчишек, рожденных от жены-молчальницы, обращены были в рабов и слушались мановенья его бровей.

Когда Росси и Митя постучали в дверь, им открыла молодая, но преждевременно увядшая женщина с грудным ребенком на руках. На вопрос, дома ли Иван Семенович, потупясь, ответила:

– Во дворце они, на приеме. Их двое уже ожидают. Присядьте и вы.

Она провела в комнату, которая окнами выходила на площадь Коннетабля, а сама скрылась в детской.

В приемной действительно сидели двое. Один из них – европейского вида, хорошо одетый человек лет тридцати, с умным и тонким лицом художника.

Завидя Росси, он стремительно двинулся ему навстречу.

– Павел Иванович, дорогой, – ответил Росси дружеским объятием, – До чего рад тебя видеть!

– Да я уж два дня как приехал. Справлялся о тебе у твоего отчима, а он в ответ только рукой машет, словно ты какой стал беспутный. Я, грешным делом, подумал, не пустился ли ты зашибать от огорчения какого или по слабости? Да нет, ясен ликом, как некий греческий бог.

– Какие бы огорчения на меня ни сваливались, я никогда не запью, – сказал с твердостью Росси. – Не сдаваться жизни хочу, а ее побеждать.

– Легко тебе гордо чувствовать – ты рожден свободным, – горько усмехнулся Аргунов и указал на сидящего на скамье человека довольно странного вида. – А вот нам с Артамонычем без шкалика хоть в воду!

Сидевший на скамье вскочил и стал весело кланяться. Он был острижен празднично, «под горшок», волосы смочены квасом. Поддевка, хоть из дешевеньких, – новая.

– Вот, рекомендую, – сказал Павел Иванович, – изобретатель. Шутка сказать – самокат выдумал. Из своей Сибири по нашим-то дорогам на нем прикатил.

– Дороги, что говорить, родовспомогательные, – кивнул Артамоныч.

– Полагаю, не везде пехтурой, где и подвозили тебя вдвоем с самокатом? – подмигнул Павел Иванович. И, повернувшись к Росси, отрекомендовал: зовется он – Иван Петров Артамонов.

– А ей-богу, не подвозили, – веселой скороговоркой зачастил Артамонов. – Деньги нужны в мошне, чтобы подвозили, а у меня в кармане – вошь на аркане да блоха на цепи. Сейчас в разобранном виде моя машинка, а как соберу ее, просим милости поглядеть. Авось в грязь не ударим!

– Кому-кому, а тебе надо ладиться уж только на победу: сам знаешь, либо пан, либо пропал – перед государем нельзя тебе сплеховать.

Росси с интересом оглядел изобретателя. Был он сухой, среднего роста, с лицом остреньким, как у лисички. Глаза умные, с быстрым, легким взглядом. Глянут – сразу все высмотрят.

– Это, значит, про вас мне на днях говорил Воронихин? – осведомился Росси. – Не у него ли вы и остановились?

– А как же не у него, когда мы с ним во всем городе только и есть земляки. У них и стоим, у господина Воронихина, пока его величество перед свои очи не потребует.

– Император заинтересован его выдумкой, – пояснил Аргунов, – прослышал от кого-то, приказал выписать. Все сейчас ему предоставлено, чтобы он мог свою машину в совершенном виде представить. В случае успеха посулили дать вольную не только ему всей семье.

– А сорвется дело, – с привычной усмешкой сказал изобретатель, – ежели мы, к примеру, опростоволосимся, – плетями угостят, не хвались!

Митя взволновался:

– За самокат дадут вольную? И всей семье посулили? Иван Петрович, да неужто?

– Царское слово – закон, – важно сказал самокатчик.

– Такие милости у нас всегда по капризу даются... – Аргунов, видимо волнуясь, подошел к Росси. – Иной талант, за границей прославленный, с отменным образованием, как мой отец и мой дед – знаменитости, да я сам только что королем польским за работу прославлен, – как были рабы, рабами умрем.

– Вы, Павел Иванович, блистательно закончили Останкинский дворец, – деликатно желая перевести разговор в другое русло, сказал Росси. – Я от самого императора слышал: фее-рия – не дворец. И какие великолепные празднества завершили окончание.

– А кончил я дворец строить, меня граф откомандировал сюда сопровождать обоз мебели. Дни свои проводить стану подручным у Кваренги по перестройке Фонтанного дома. Ну, это еще терпимо: понижение в работе. Но торговаться с вашим отчимом насчет продажи его павловской дачи графу много хуже. Горячий и, простите меня, грубоватый человек ваш отчим, Лепик. Вам, конечно, о продаже дачи известно?

Карл вспыхнул, но тотчас утвердительно кивнул головой. Ему о продаже дачи мать и отчим еще ничего не сказали. «Ну что же, – подумал он, отличный случай окончательно отделиться от родных и начать вполне самостоятельную жизнь. Давно нет родного дома...»

Росси овладел собой и, отстраняя досадные мысли, с искренним восхищением стал хвалить убранство Останкинского дворца.

– Все свидетельствует о совершенстве вашего вкуса, Павел Иванович, о вашем великом таланте декоратора...

– А вот ихний граф, знать, невысоко ценит талант, – неожиданно тонким голосом сказал самокатчик, – простую баньку им по-черному для людей заказал выстроить, это после чудесного их дворца! Да это же так, словно б цветистую бабочку запрячь воду возить!

Он захохотал, но тут же застыдился, умолк, из угла стал глядеть волком.

– Должность крепостного архитектора таит в себе большие опасности, мрачно проговорил Аргунов, – и чем он даровитей, тем горше его судьба. Пройдет у барина каприз стро-

ить, и он вчерашнего творца, которым восхищалась хотя бы и Европа, повернет, не моргнув, в лакеи, в свинопасы.

Аргунов прошелся по комнате и стал перед Росси.

– Вот бегаю я сейчас, как мальчишка, достаю для дачи образцы обоев, чиню мебель, которую любой столяр лучше меня чинить может. А как подрядчик ремонт затянул, мало считаясь с моими только что признанными заслугами, через канцелярию прислал граф мне лично позорный выговор с наложением смехотворного наказания, заставившего меня вспомнить детство, когда за шалости мать без сладкого оставляла.

– А ну-ну, какое такое наказание? – с веселым любопытством спросил Артамонов.

– Граф приказал снять меня со «скатертного стола», то есть с улучшенного довольствия, и перевести на харчи, общие с прислугой. Самое же обидное, что ничего я не строю с той самой минуты, как зарекомендовался первоклассным строителем.

Аргунов сел на место рядом с Росси и, невесело ухмыляясь, сказал:

– До нелепости сужен сейчас круг моей деятельности. Приставлен я, кроме всего прочего, к наблюдению за гуляющими в Фонтанном саду, дабы они фруктов, вишен, малины не рвали...

– Вот тут и запьешь горе водочкой, – щелкнул изобретатель себя по горлу, доканчивая речь Аргунова.

– Но ведь граф Шереметев не невежда, – возмутился Росси, – он учился в Лейденском университете, в искусстве, несомненно, понимает. Как же так грубо третировать художника?

– Понимание искусства не препятствует собственным крепостным художников считать своей вещью и распоряжаться ими как мебелью. Брат мой, Николай, прославленный своими портретами фельдмаршала Шереметева и прочими, который на правах друга жил с баринком за границей, – разве отпущен им на волю? Да о чем говорить, если сам Андрей Никифорович Воронихин вовсе недавно получил вольную.

Все минуту молчали, затем изобретатель убежденно сказал:

– Самокатами надо свободу себе добывать. Позабавишь барина, повеселишь, – он и размякнет. Господ потешать надоть, чтоб от них резону добиться, аль как наши сольвычегодские...

Самокатчик вскинул волосами, плотно сжал губы и страшноато подмигнул.

– А как же сольвычегодские? – насторожился Митя.

Самокатчик быстро оглянулся, пригнулся к Мите и шепнул:

– Митрополита Иакинфа тюкнули... Еще при покойной царице дело вышло. Несуразную барщину налагал монастырь. Терпели мужички, сколько хватило терпения, впоследствии времени – тюкнули.

В дверях выглянуло испуганное лицо жены Брызгалова, и, словно на пожар, она крикнула;

– Паша, Саша, тятеньку встречать!

К изумлению присутствовавших, из-под ног, как собачонки, выкатились мальчишки-погодки. Они под скамейками играли в карты. У обоих были громадные головы в кудрях, круто завитых наподобие парика, желтые канифасовые панталончики, заправленные в желтые сапожки с кисточками на кривых, обручем, ногах. Нацепив на голову один – игрушечную казацкую шапку, другой – кивер, они, как были, в одних пунцовых шпензерах, кинулись на двор.

– Хозяйка, дети ваши простудятся, – крикнул женщине Митя.

– Они привычные, – равнодушно отозвалась хозяйка.

Через некоторое время мальчики вновь появились в сопровождении папаши Брызгалова. Паша нес его огромную бамбуковую трость с темляком на золотом шнуре, другой – Саша – нес треуголку с широким галуном.

У Брызгалова было сухое, морщинистое буро-красное лицо, с крючковатым, узким как клюв, синеватым носом. Из-под напудренных широких бровей блестели черные быстрые глаза, костлявый подбородок начисто выбрит. Он походил на какую-то беспокойную нарядную птицу. Брызгалов важно поклонился и сел в кресло, а сыновья стали по сторонам. Отец отпустил сыновей мановением руки и осведомился у Росси, зачем пожаловал. Услышав, что за чертежами, встал, прошествовал в комнату. Долго там возился, так что мальчишки, шмыгнувшие опять под скамейку, успели, к забаве всех присутствующих, подраться, помириться и снова начать игру.

Брызгалов, переодетый в домашнее платье попроще, вынес чертежи и подал их Карлу.

– Все в сохранности, как было мне препоручено господином Бренной. Почтенный он зодчий по возрасту, и не к лицу б ему спешка. По пословице: поспешишь – людей насмешишь. А то и похуже, как у него с надписью над главным входом вышло. Читали вы?

– А что особенного в этой надписи?.. – уклончиво ответил Росси, желая послушать, что скажет сам Брызгалов.

– А то, что юродивая со Смоленского не сдуру о ней изрекла, вот что.

– И по-моему, в надписи ничего необыкновенного нет, – нарочно подзадоривал Брызгалова Митя.

– В обыкновенном исчислении букв – вся необыкновенность, – тоном открывающего великую тайну, понизив голос, сказал Брызгалов. – Ваш учитель приобвык за эти годы тащить на стройку замка что ни попало. Ухватил, не разобрав, изречение, заготовленное для собора святого Исаакия, и водрузил в замке над главным входом. Число букв надписи – сорок семь, столько же и годков нашему государю. Вернее – сёмый еще не ударил. Идет сёмый... в феврале ему стукнет.

Брызгалов обернулся на одни двери, на другие и, сильно трусая, но и горя желанием поразить воображение слушателей, произнес значительно:

– Хорошо, коль благополучно сойдет ему этот годик. Плохие предзнаменования насчет этого дворца прорекла юродивая!

– Иван Семенович, уважаемый, поведайте нам... кто же мудрее вас в таких тонких делах разберется? – подольстился Аргунов.

– Только, чур, язык держать за зубами! – погрозил пальцем польщенный лестью Брызгалов и торжественно продолжал:

– Из предзнаменований перво-наперво виденье солдатово. Известно, что стоявшему на карауле в Летнем дворце явился в сиянии некий юноша и сказал: «Иди к императору, передай мою волю, дабы на сем месте заместо старого Летнего дворца храм был воздвигнут во имя архистратига Михаила». Донес солдат по начальству, довели до императора. Он солдата расспросил и сказал: «Мне уже самому известна воля архистратига, она будет исполнена». А кто есть оный архистратиг? – обвел всех строгим вопрошающим оком Брызгалов и сам себе важно ответил:

– Сей архистратиг изгнал из рая первых грехо-павших людей, и самого дьявола поразил он мечом. Ему положено являться с той поры в местах, где готовится особливо злое дело... Ох, недаром великий предок, царь Петр Алексеевич, о своем правнуке тревожится. Всем известно виденье, которое было императору. Князь Куракин свидетелем. За границей сам государь про это рассказал – публично. Не раз, дважды сказал великий царь: «Бедный, бедный Павел!»

– А и впрямь – бедный, – сказал вдруг пришедший в волнение самокатчик. – Не ведает, что творит, сам себе яму роет – врагов с друзьями путает. Аракчееву, слышать, потакает, когда он над покойной матушкой царицей насмешки строит... Шутка ль, победные знамена екатерининского славного полка назвал во всеуслышание царицыны юбки? В Херсоне-городе сокрушен памятник Потемкину. В Новороссийскую губернию пришло, говорят, секретное предпи-

сание – до нашей Сибири молва донесла – тело светлейшего князя из склепа вынуть и псам кинуть...

– Уж это едва ли правда, – сказал Аргунов, – а что царствование он начал с великого кощунства над прахом матери и отца – это уж всенародно было...

– Даром не пройдет, говорят в народе, что вырыл прах отца, короновал и силком с матерью соединил, – подтвердил самокатчик.

– Расскажите, как вышло дело, Иван Семенович, – попросил Аргунов, меня в городе не было, а из очевидцев кто ж лучше вашего изобразит?

– Для потомства запомнят молодые.

– Очень просим, – вежливо поклонился Росси. Брызгалов не стал ждать, чтобы его упрасивали.

Он любил рассказывать, когда хорошо слушали. Превыше всего почитал ритуал, фрунт, правило – за что взыскан Павлом, а к странному поступку императора у него было совершенно особое уважение. И в то время как все Павла осуждали за то, что он, вырыв прах Петра Третьего, облек его мантией, водрузил на голый череп корону и, в издевку над родной матерью, похоронил его заново с нею рядом, – Брызгалова поступок этот восхищал необычайно.

– Уж ежели рассказывать, так все по порядку, – сказал он, – и чтобы не было мне от вас никакой перебивки. Мать! – крикнул он по направлению комнаты, где находилась жена с маленьким, и стукнул своей длинной палкой в дверь. – Убери сейчас ребят!

– Пашенька, Сашенька, – молила женщина, но отроки забились глубоко и не обнаруживали признаков жизни.

Брызгалов пошарил своей тростью под скамьей, должно быть задел хорошо мальчиков, потому что оба, взвизгнув истошными голосами, тотчас прожелтели нанковыми панталонами и на четвереньках убрались к матери.

Засунув в нос понюшку табаку и основательно прочихавшись, Брызгалов начал:

– Всем вам известно, что императору Петру Третьему смертный час приключился в Ропше, как свыше объявлено было, «по причине геморроидальных колик». В народе же сильно болтали, будто Алексей Орлов ему саморучно жизнь прекратил и прочее тому подобное. Словом, тело его привезли в Лавру в бедном гробу, четыре свечи возложены были по сторонам гроба. На императоре всего облачения – поношенный голштинский мундирчик. Ручки в белых перчатках больших, на которых, многие тогда заметили, тут и там кровь запеклась следы, говорят, неаккуратного вскрытия тела. Предан земле был без пышности, с одной лишь малой церковной обрядностью. Матушка-императрица не почтила своим присутствием погребения супруга. Да-с, как некоего разжалованного, лишенного короны и державы российской, хоронили горемычного Петра Федоровича...

– И сколь похвальна сыновняя справедливая ревность об отце императора Павла! Ревность к восстановлению, хотя бы посмертному, прав отчих.

– Тридцать карет, обитых черным сукном, запряженных цугом, каждая в шесть лошадей, выступали чинно одна за другой. Лошади с головы по самый хвост в черном сукне, при каждой своей лакей с факелом, опять-таки в черной епанче с длинным воротником, в шляпе с широкими полями, с крепом. И лакеи, с обеих сторон кареты, в таком же наряде, и кучера...

– И в сих черных каретах сидели черные кавалеры двора и на бархатных черных подушках держали на своих коленях регалии.

– Семь часов вечера в этом месяце – это мрак ночной. И смертный страх обуял, когда двинулась эта могильная чернота из Зимнего дворца в Невскую лавру за два дня до вырытия из могилы Петра Третьего.

– Не забыть этой страшной картины. Багрово горящие дымные факелы, зеленоватые от их света перепуганные люди.

– Наконец тело императора Петра Третьего вырыто из могилы и купно с его старым гробом положено в богато обитый золотым глазетом новый гроб. И выставлено посреди церкви.

Брызгалов задумался, как бы заново созерцая все, о чем вспоминал...

– А дальше, Семеныч, – вымолвил просительно Аргунов, – ужели сегодня не dokonчите?

– А дальше, согласно церемониалу, вот что последовало: в пять часов дня император прибыл в храм в сопровождении великих князей, придворных, жены. Вошел в царские врата. С престола взял приготовленную корону и возложил на себя. Подошел затем к останкам родителя, снял корону с себя и возложил на него. Пусть осуждают, кто посмеет, я же полагаю, сим поступком сын восстановил упущенное пред отцом. Из останков же уцелели следующие предметы, – обстоятельно перебрал их Брызгалов, – кости, шляпа, перчатки, ботфорты.

– Какой ужас! – поеживаясь, заговорил Аргунов. – Коронованный скелет с его оскалом зубов, пустотой глазниц, в перчатках и ботфортах. Какой сюжет для картины!

Брызгалов, увлеченный последовательностью воспоминаний, не отвечая, продолжал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.